

Записка, оставленная на форзаце нотного сборника, ничего толкового не содержала и ни к чему не обязывала. Неведомо было и то, кому принадлежал сборник, обнаруженный нами в корзине среди прочего бумажного хлама хозяев дачи, которую сняли на лето наши приятели. Бумажным хламом мы растапливали печку. От нотного сборника — пьесы для аккордеона — уцелела половина с тонкой обложкой цвета синей акварели. Сборник обрывался в середине «Неаполитанской песенки» Чайковского, и в этом неуместном финале угадывалась грубая и глупая трагедия. Записка дразнила не сразу понятой симметрией. Сокрытая в содержании, она злорадно перемигивалась с половиной уцелевшего сборника, с половиной песенки, с размещением в центре форзаца чьих-то загадочных строк.

Мне вздумалось запомнить текст перед сожжением истерзанного сборника, чтобы огласить записку за ужином, для всех, кто будет за нашим столом. На память я не жалуясь, но странное послание решительно противилось запоминанию и поддалось, изрядно помотав мне нервы. «Названия селения нашего, равно как фамилий и имен людей, в нем проживающих, остерегаясь злостного и за добро одно ратуя, называть в записке этой не стану. Считаю таковое решение разумным по двум соображениям. Первое из них вот какое: коли что пойдет у меня не так, как бы не обидеть невзначай кого из жителей. Второе же соображение обратным устремлением вызвано: и неведомый мне человек из селения мне неведомого, ознакомившись с запиской этой (коли сложится она у меня) ухватит в ней то, что на его оплошности и заблуждения ему единственному прямое указание даст».

Когда заученное мною послание было наконец озвучено за столом, мы громко спорили и много смеялись, угадывая, о чем хотел поведать нам безвестный старомодный писака. Мы обсудили, кажется, не меньше десяти предположений, но ни одна из версий — чужая ли, моя ли собственная — не вызвала согласия или сочувствия публики. Быть может, не вязались эти версии с детски-синим цветом уцелевшей части обложки нотного сборника. Может, не укладывались они в радостно танцующий шаг «Неаполитанской песенки»; или же придуманные нами истории не оправдали содержания вступления, шариковой ручкой старательно выписанного на форзаце; или, попросту, не были они достаточно симметричны.

Не помню точно, чем закончилась игра в тот вечер. Придуманные нами истории забылись, спутались одна с другой, но строчки с форзаца засели в моей памяти невидной глазу занозой. От них никак не получалось избавиться. Они преследовали меня, как потерявшая хозяев шавка, и это смахивало на наказание, которого хотелось избежать. Потом, по осени, видно, отчаявшись догнать меня, они отстали — затерялись с караваном летних дачных вечеров.

А зимой докучливая псина объявилась снова. Снежным декабрьским утром она вывернула из-за угла в образе худой, высокой, еще красивой, но угрюмой женщины. Детская акварель с обложки сожженного нотного сборника была разлита по ее пальто — на вид тониусенькому, не подходящему к морозным здешним зимам. Такими же акварельно-синими, чуть светлее пальто, были ее вязаные шарф и шапочка. Вывернув из-за угла, женщина в синем одиноко брела вдоль улицы. Она казалась несчастной или больной, смотрела себе под ноги, а руки ее безвольно болтались, как руки сломанной красивой куклы болтаются на ослабевших резиновых привязях.

Утро выдалось солнечным. Снежные хлопья — нарядные, праздничные — окружали поникшую красавицу безмятежным весельем. От женщины в синем не хотелось отводить глаз, но тут другая женщина, стоявшая рядом со мной на остановке, испуганно сказала: «Не может быть. Откуда здесь она? Опять пришла. Явилась, где не ждали».

Она сказала это вслух, обращаясь сама к себе, сказала резко, сердито и напуганно, неотрывно ведя взгляд за худышкой в синем пальто. Она, кажется, думала, что никто не слышал ее, она даже не заметила в произнесенных ею словах зловеще простучавшей рифмы. Она тоже была красива, только иначе — рослая, краснощекая, толстолицая. Тяжелая мутоновая шуба покрывала ее дородное тело сверху донизу — от крепкой шеи до щиколоток ног в ловко сшитых унтах.

Было ясно, что женщины знакомы между собой, и непонятно было, чем несчастное тщедушное создание в тонком синем пальто пугало боевую бабу, весь вид которой являл готовность оттащить за шкуру любого неугодного мужика.

Произнеся нечаянно срифмованные фразы, женщина в мутоновой шубе зашевелилась: полезла в карман, открыла и закрыла сумку, бестолково потопталась на свежем снежном настиле. Стоявшая до этого большой недвижимой статуей, она вдруг сделалась нетерпеливой, на остановке ей, казалось, стало тесно. Она, наверное, отправилась бы пешком туда, куда собиралась, но прибыл ее автобус, и она поспешно вскарабкалась по лесенке внутрь. Не знаю, откуда полилась в тот миг задорная «Неаполитанская песенка» — вырвалась она из раскрывшегося двери автобуса, сорвалась с чужого сотового телефона или возникла в моем воображении, но точно знаю — исполнил ее синтезатор, потому что сияние солнца скрылось в тени бездушной шарманки.

Автобус с женщиной в мутоновой шубе укатил с остановки. Тем, кто остался там вместе со мной, открылась белая пустая улица, в конце которой слабо синел, уменьшаясь, тонкий акварельный мазок. И тогда записка с форзаца нотного сборника вывалилась из чулана моей памяти.

Она вспомнилась слово в слово, а история, предваряемая запиской, расстелилась передо мной, как легла перед глазами чистая заснеженная полоса. История открылась сразу, вся целиком, и с такой отчетливостью, что усомниться в ее подлинности было уже нельзя.

Куплеты песенки стали теперь страницами: четные — для одной солистки, нечетные — для другой. «Названия селения нашего, равно как фамилий и имен людей, в нем проживающих, остерегаясь злостного и за добро одно ратуя, называть в записке этой не стану...»

Домики стояли кривые, страшные, все под серым шифером черные — слегка, точно мукой присыпанные, крапленные мелким первым снежком. Сколько они тут стояли — никто не знал. Может, и сто лет стояли, а может — больше. И еще сто лет простояли бы, наверное, кривые домики, кабы баба одна склянки с молоком не разбила.

Было это утром. И утро было как утро, как все другие утра бывали — с криками петухов, с мычанием коров и собачьим лаем, с новостями по радио, с деловитым «угу-каньем» поезда, что, не притормаживая, пробегал сонную станцию у реки. «Угу-угу, угу-угу», — с холодом речного тумана приносил оттуда на улицу, если у какого домика не тарыхтел заведенный мотор.

Во всей деревне коров держали на двух дворах. Из одного из них — что к лесу ближе, чем к станции — та баба и вышла. Вышла — как всегда выходила: переступила ямку у ворот, обернулась, чуть в сторону и обратно шагнула, руку со стародавней авоськой назад вытянула, а свободную руку сквозь штaketник сунула опустить затвор на калитке, закрыть ее изнутри.

— И пошла я с авоськой, а в ней банка стеклянная с молоком, — говорила потом баба каждому, кому не лень было слушать. — Двух шагов не ступила, как ее в том конце улицы заметила. Она со станции, видно, шла. Присмотрелась я: девка — не девка, баба — не баба, тощая да длинная, как та доска, и в пальто синем, ярком — такое разве дитю глупому пристало носить.

Тогда и случилось. Банка стеклянная — разбилась: сама, безо всякой на то причины. В доказательство у бабы доводы шли: стукнуться авоська ни обо что не могла, так как баба шла напрямиком посередине улицы, а там авоське стукаться не обо что, банка под молоко была у нее своя, проверенная временем, не битая и не треснувшая, и просто так ни за что бы не лопнула.

Разговоры о злосчастной банке поползли по деревне позже. А тем утром баба только охнула, когда, почувствовав коварный щелчок, увидела, как серенькая с маками авоська белеет в ее руке, набухает, выщеживает из нутра три литра теплого еще парного молока и тут же свешивается к самой земле ничемной мокрой тряпицей.

Баба выругалась. Далекий поезд пробубнил «угу-угу», в каком-то доме нехотя затыкала собака, а баба, тихо ворча, принялась вытаскивать из мокрой авоськи осколки и бросать их на дорогу. Вынув крупные стекла, она вывернула авоську и вытрясла из нее мелкие. Происшествия не видел никто, кроме той, что в синем пальто шла со стороны станции.

Девушка шла медленно, потому что не знала, куда идти. Помнила, что теткин дом стоял высоко и близко к лесу: «Эта улица к лесу ведет, а наверх, наверное, каким-нибудь переулком пробираться надо». Лицо щекотала холодная снежная пыль, воздух был чистым, свежим, а чемоданчик в руке казался совсем легким, с такой поклажей — гуляй, не хочу.

В чемоданчике было немного личных вещей: пакет с лекарствами для тетки, ростки золотого уса — тоже для тетки, чтобы в доме развела, а летом — в огороде, блокноты и карандаши для рисования эскизов, мешочки с бусинами и стеклярусом, иголки, нитки, леска, резинки, застежки, пуговицы, плоскогубцы, пинцеты и ножнички — все для плетения бисером.

Ей приятно было идти по незнакомой сырой от снега улице. На накатанной земляной дороге ноги ступали мягче, чем на асфальте. И красиво было кругом. На черных стенах и заборах белели снежинки, а когда сквозь серую толщу в небе пробилось немного солнца, они засеребрились в воздухе и дорогами блестками украсили ее пальто.

Она сама его сшила, и тайно этим гордилась. Другого такого пальто ни у кого в целом мире не было. Она придумала его, нарисовала, скроила, сметала и сшила — вручную, потому что ее плохая машинка такую ткань не брала. Синий драп — старый-престарый, настоящий — подарила бабушка. Последний довоенный отрез полвека ждал выхода в свет, сучая в темной кладовке.

Она пошла навстречу женщине, что приближалась к ней, шагая посередине мокрой улицы, но та остановилась, а слева показался переулок, в который можно

было свернуть. Она свернула, услышала, как звякают одно о другое стекла, что женщина на улице бросала на землю, поняла, что та, наверное, разбила что-то, и улыбнулась, привычно подумав: «К счастью».

«Это ничего — что в деревне. Это ничего — что, может, надолго. Будет время платья рисовать. Нарисую тысячу или две. Это ничего — что шить негде. Рисовать платья можно и здесь. А сошью потом. Стану кутюрье, уеду далеко, в большой город, там и сошью — всю тысячу или две. Потом. А пока из бисера плести можно. Люди ведь и здесь есть. Что-нибудь у меня купят».

Она думала об этом и незаметно для себя ускоряла шаг. Переулок был узким, и она шла, почти прижимаясь к заборам, и за каждым забором принимались лаять собаки. Она подумала, что разноголосый собачий лай похож на путаные ее мысли: «Лишь бы тетка — ничего, не очень болела. А блестящие снежинки и чемодан украсили. А пальто, наверное, промокло».

Дня три прошло, когда о разбитой банке в деревне узнали. Случайно узнали, да и то не все. Баба та, что тремя днями раньше без молока осталась, до магазина подалась — хлеба взять, сахару, пряников каких к чаю. Шла она быстро: к началу сериала туда-сюда обернуться думала. От ее двора до магазина — половинки двух улиц, переулком сцепленные.

Не успела она одолеть половину улицы, на которой дом стоять остался, как увидела — ее, в синем пальто. «Не к добру», — боязливо подумала баба и тут же, в узкий переулок ступая, подвернула ногу. Да сильно так подвернула, что померкло солнце в ее глазах. А солнце в тот день не ленилось, с утра окошки в домах серебрило, блики разбрасывало на ледяные корки луж.

Держась за черные заборы, с померкшим солнцем в глазах и адской болью в лодыжке, хромая, стая, охая, под злобный собачий лай спустилась баба переулком к другой улице — той самой, где три дня назад стекла разбитой банки бросала. До магазина пол-улицы прошла — тоже хромая и охая — благо, свечение солнечное вокруг нее восстановилось чудом.

— Не было печали, — сокрушалась она, навалившись на прилавок, пока продавщица, обеспокоившись, установливая рядом низенький табурет. — Кому скажи — не поверит, — отдуваясь, говорила баба. — Тот раз увидела — молоко разлилось, этот — нога сломалась. И как до дому ковылять? К сериалу хотела. А теперь не нужен мне тот сериал, теперь на улицах сериалы крутят.

— Сейчас он хлебные лотки составит да до больнички свезет, — утешала бабу продавщица, кивая на грузчика, который в те минуты работал грузчиком, а в другие часы то шофером, то дворником значился.

— Постой-ка, милая, — обратилась она к вошедшей покупательнице. — Подсобишь. Человека в машину погрузить надо, одни не справимся. Что стряслось? Беда, что ж еще.

Бабу повезли в «больничку» — так в деревне фельдшерский пункт называли, что по будням с десяти до двенадцати функционировал при станции. Пострадавшая еще охала, трясая на ухабах дороги, а с десятков утренних покупателей уже знали о том, что она ногу сломала, что банку из-под молока разбила, и что оба несчастья свершились из-за той, что ходит в синем пальто.

— Это кто ж такая? — дивились люди. Потом объяснил кто-то:

— Во второй от леса дом приехала на верхней улице. Племянница. Ну, той, что слегла. Теперь вроде ходит. Только некуда ей ходить. Нелюдимка — как была, так и есть. Ну, да, она. Нет, какая ж она старая? Себе на уме, растрепана. Ты волосы хной покрась, завивочку сделай, стрижечку — и будь не хуже других...

— Да где ты их отыскала, ведь лес польсел давно? — воскликнула тетка, когда девушка, захлопнув дверь, повернулась. В руках ее были ветки осины — как

древними монетами, увешанные круглыми пунцово-багряными листьями. Листьев на ветках осталось мало, наперечет, и это, как древним монетам, прибавляло им ценности.

— Полысел, — ответила девушка, нога об ногу стаскивая у порога ботинки. — А эти остались, — и она подошла к сидевшей в кровати тетке, протягивая осенний букет.

За облаком пунцово-багряных листьев она была особенно хороша. Лицо ее раздурманилось и сияло улыбкой, русые волосы растрепались по синему вороту, цвет которого вторил оттенку глаз.

— Какая ты красавица стала, — не удержалась тетка. — И пальто у тебя красивое, тебе идет. А эти, — она понюхала сухие ветки, — осенью пахнут.

— Я люблю осень, — сказала девушка, снимая пальто. Она повесила его на плечики у двери и снова подошла к тетке, присела на краю кровати и чуть поправила рукой теткины волосы.

— Вот и здесь — осень. Ценное серебро.

— Смеешься над больной старухой?

— Это кто здесь — старуха? Подумаешь, приболела. Ты же поправились почти. На кровати привстаешь, скоро поднимешься, из дому выйдешь. А седые нити в волосах — это красиво, этим гордиться надо. Мне бы такого чуть-чуть, я с утра до ночи любовалась бы перед зеркалом.

— Чудная ты. Появится седина — не рада будешь.

— Буду рада, вот увидишь, буду! Да ты подумай только: серебро — твое и только твое, к тому же бесплатно, — девушка засмеялась. — Я бы гордилась. Я бы так и эдак свою голову рассматривала: и в тени и на солнце. Серебряные нитки дорого стоят. Правду говорю — очень дорогие они. Тебе такой подарок дарят, а ты не рада. А мне такой подарок — еще заслужить.

Девушка стала серьезной и поднялась стремительно, будто решив «служить» сию же минуту. Она достала с полки пустую стеклянную банку, опустила в нее осенний букет и поставила на подоконник у теткой кровати. Потом она поправила подушки у женщины за спиной, подоткнула одеяло, вымыла руки под прямиоюником, наполнила и включила чайник.

— А в таких пальто у нас никто не ходит, — сказала тетка.

— У нас тоже, — ответила девушка. — Вот я и хочу уехать куда-нибудь. Я платья хочу шить, пальто, костюмы, жакеты. А у нас на практике, знаешь, что шьют? Фартуки. Халаты рабочие. Однажды нам школьную форму заказали: безобразную, скучную, в такую не то что детей — манекенов одевать жалко.

Дети и мужики деревенские про бедоноску в синем пальто не говорили, не слышали, тогда как бабья часть населения, кругом магазина жизнью вращаемая, промеж собой успела все обсудить и решила примерно так: «Пусть черт ее заберет, а нам пока — стороной держаться». Приезжую в синем пальто сторониться стали, а завидев — троекратно сплевывали.

И это несмотря на то, что потерпевшая баба вовсе не поломала ногу, а, как выяснилось еще в больничке, только лодыжку вытянула — такое с ней и раньше случалось, и всякий раз успешно излечивалось мочой и водочными примочками. Вот и на этот раз лодыжка в неделю выправилась, так что вскоре после больнички баба по деревне носилась шустрее прежнего.

Однажды под вечер та баба в окраинный дом зашла. В большом крепком доме самая большая на деревне семья проживала. Сколько ртов в семье — устали считать: хозяин с хозяйкой, ее старики да его старики, детей с десятков, те, что взрослые — с молодыми, молодухами да малыми детьми, у самого старшего — две двойни. Все за столом в тот вечер сошлись, позвали и гостью.

Присела баба. С хозяйкой, с молодухами, со старухами обговорили известное. Дети послушали — на свой лад разумели. Мужики высмеяли.

— Воронье вы, бабы, и ешь, — отрезал хозяин, в большие усы выругавшись. — Живет да живет девка, за теткой ходит, никого не трогает — чего ополчились, чего на нее вызлились? Воронье ваше нутро — подай вам, кого заклевать можно!

Старики — что пни, глухие — сказанного не слышали. Малышня похихикала в кулачки. Взрослые сыновья да зятя молчком кивнули в поддержку хозяина. Бабы обиделись, но виду не подали. Гостя с разговорами утихла и, dokonчив кусок пирога с капустой, прощаться стала. Обменявшись с бабами многозначительными взглядами, с хозяином простилась скупно и к себе пошла.

Другие, отужинав, тоже по углам разбрелись, кто куда — за своими делами. Хозяйка — за старухами утирать, невестки — за посуду, мамыши — за детьми, старики — на двор, и так дальше, за каждым не уследишь. Двое старших сыновей, папироски выкурив, — дрова в поленницу складывать. Двое старших зятьев, перекурив — в рощу, за оставленной партией дров.

За день четыре ходки сделали, последняя оставалась. УАЗик за воротами ждал. Завели мотор, тронулись. И тут через дорогу — соседка новая, та самая, что в синем пальто. Посигналили приветственно, та глянула, а мотор заглох. Соседка ушла давно, а машина у зятьев все не заводилась никак.

— Дело бабы говорят, — процедил старший. А с мотором они полночи мучились.

Девушка видела, что тетка задремала в кровати, и старалась работать тихо. В комнате стучали часы, а за окном то и дело что-то бряцало: кто-то чинил машину. Она сидела за столом в луже света настольной лампы, нанизывала на леску мелкие стекляшки, а иногда поднимала со стола плетение, вытягивала руку перед собой, ближе к лампочке — чтобы рассмотреть.

На улице вдруг дико взревел мотор, громко хлопнули капотом и машинными дверцами. Тетка проснулась.

— Не сидится тебе без дела, — сонно пробормотала она.

— Знала бы я, что у тебя золотого уса полно, взяла бы больше бисера, — сказала девушка, думая о своем.

— Куда уж больше? Чуть не полный чемодан набила.

Девушка поднесла к лампе наполовину сделанное кольцо, внимательно всмотрелась в него и пальцем показала на сердцевину узора:

— Видишь? Темно-вишневого маловато, а у меня больше нет такого, только светлый остался, но светлый сюда не пойдет, мне темного бы еще.

Она сердито выдохнула носом и опустила на стол плетение.

— Красота, — похвалила тетка. — Сойдет и без темного, спать тебе пора, бросай глаза портить.

— А вот и не сойдет, никак не сойдет. Переделывать буду, всю середину менять. Завтра все переделаю, а сейчас — спать, — сказала девушка.

— Куда потом такое богатство денешь? — спросила тетка.

— Это кольцо для тебя делаю, — ответила девушка. — Нравится?

— Еще бы не нравилось! Только мне его носить некуда. И вообще: ничего себе подарок! Не возьму, не уговаривай даже — сколько трудов твоих, который вечер сидишь, крючком согнувшись! Нет, не возьму я, ты об этом не думай даже! Такому добру пропадать? Да в этой комнате его и не увидит никто.

— Ты увидишь, — засмеялась девушка, убирая со стола рукоделье.

Тетка вздохнула и закричала, пытаясь справиться с пирамидой подушек за спиной. Девушка помогла ей улечься, унесла лишние подушки на кресло, разло-



жила по коробкам и мешочкам бисер, сложила инструменты в чемодан, постелила свою постель на диване и погасила на столе лампочку.

— Долго ты пробудешь со мной? — спросила в темноте женщина.

— Пока совсем не оправившись. У меня последняя практика начнется весной. А диплом я досрочно сдала, так что зима — пустая. Но ты поправишься раньше, это я чувствую. В Новый год будем с тобой плясать!

Последнее девушка объявила громко и весело. Через пять минут она уже спала, а тетка слушала, как стучат часы, догорают в печи дрова и тихо дышит во сне племянница.

До Нового года о тощенькой приезжей рукодельнице вся деревня прознала. На улице с той, что в синем пальто ходила, встречаться остерегались, встречая — крестились да сплевывали, в гости ее не звали, но во второй от леса дом на верхней улице один за другим навещать повадились. Опасались люди, а все же шли.

Началось с большого дома самой большой семьи. Чудно было бы, кабы вышло не так, потому что жили они — самое большое на деревне семейство и тетка с приезжей племянницей — забор в забор, по одной улице. Однако не близость соседская стала причиной соседской связи. Тут, скорее, любопытство людское главную роль сумело сыграть.

Тот зять, что в бабы сплетни однажды поверил, в начале зимы, о том да о сем с супругой судача, обмолвился:

— Тут — гадай не гадай. Разузнать чего хочешь — посмотри пойдя, как живут.

— Ёфу ты, — замахала руками та. — К черту в сети идти? Прости меня, Господи.

— Ну, так не болтай тогда, — кончил разговор молодой супруг.

Он-то кончил, а баба его будто вшей подцепила, с того дня забыла покой. Так извелась она, что без всякой причины на месте стала подсказывать: то в окно посмотрит на крытый снегом соседский огород, то замрет, где шла, заслышав скрип калитки. Через пару дней уговорилась с сестрой проведать больную соседку:

— Варенья несем, она нынче без ягоды, горемычная.

Пришли. Долго в сенях ногами шаркали. В комнату вошли, откашлялись, поздоровались — все, потупив глаза. Чай отказались пить, сели на стулья ближе к кровати, о здоровье справились, повздыхали, о делах в деревне рассказали кое-чего. Украдкой осмотрели комнату: шифоньер, комод, стол со стульями, диван, кресло, умывальник за печкой — мебель, как у других.

На племянницу гости не глядели, стеснялись как будто бы. Когда соседка представила девушку, отводя глаза, ответили: — Здрасьте.

Во второй раз от чаю отказались:

— Мы пойдем. А вы вареньице кушайте, поправляйтесь. Малина, считай, свежая.

Сестра, что младше, поднялась со стула, банку с вареньем на стол поставила да так и ахнула:

— Сверкает-то как — что золото! Глянь, сестрица! Никак — сережки? А это? И обе гости стояли уже у стола, перебирали дивные блестящие побрякушки, что теткина сиделка из мешочков вынимала, рассматривали, примеряли на себя и друг к дружке прикладывали. Обращались к лежачей тетке: — Сама она и делала? А продает? Вот это светленькое колечко почему у нее будет?

Даром она отдала колечко: приятно было, что соседки пришли проведать одиноко живущую родственницу. Она и второй гостье что-то предлагала в подарок, но та отказалась из скромности. Женщины показались ей довольно милыми, хотя и были в разговорах и движениях слишком уж застенчивы и скованны.

— Я и сама тихоня, дарить люблю, продавать стесняюсь, — говорила девушка тетке. — Легче, когда люди сами вызываются заплатить и сами же предлагают цену. Согласиться, головой кивнуть — это нетрудно. Но дарить — все же приятней. А лучше — видеть, что твое украшение кто-то носит. Особенно здорово заметить это случайно, сначала не узнать, а потом вспомнить.

В начале зимы она плела вещицы для теткиной комнаты. Она сделала рамку для фотокарточки молодой бабушки — матери тетки, украсила подсвечник и вешалку для полотенец, соорудила вазу для осеннего букета на подоконнике, а заодно перенесла осиновые листочки на скучные теткин шторы — вышла по несколько штук на каждом полотне, и комната обзавелась листопадом.

Сделав зеленую заколку под темные с сильной проседью тетнины волосы, она соорудила еще шесть — других цветов радуги — на продажу. Чуть не каждый вечер на столе появлялась новинка — заколка, брошка, колечко, браслет, кольцо. Любая вещица удивляла и восхищала тетку, и та, предвидя маленькую радость, с нетерпением ждала вечеров.

Они делали гимнастику и массаж, чтобы тетка побыстрее окрепла. Своим лечением тетка с ее медицинским образованием управляла сама, а молодая племянница полагалась скорее на чутье, чем знание. Она старалась чаще проветривать комнату, получше кормить и поить больную, занимать разговорами, почаще бодрить и радовать.

За рукоделем и заботами девушка не скучала. На улицу она выбиралась редко — шустрым шагом в магазин и обратно. А если выдавался в погожий день свободный часок — тратила его на прогулку по окраине леса. Оттуда она возвращалась с находкой — камнем, шишкой, сучком или прутиком, которую в тот же день поселяла в комнате, включив в интерьер.

На пути из леса она задерживалась на взгорке. Оттуда деревня смотрелась жирным дождевым червем, ползущим со станции; дома-заборы сливались в полосы, в единое целое, дворы были похожи, крыши одинаковы, и только в центре деревни на одной из них громоздилось неопознанное ею сооружение — прилипший к телу червяка несурзанный предмет.

Дюжий переполюх поднялся в деревне из-за бисерного колечка. Баба, что банку разбила да лодыжку вытянула, твердила: «заговоренное». А одной от другой заговоренное принять — к сердечной беде. Отсюда и весь сыр-бор: кто спорил, кто соглашался, но провидица своего держалась крепко. Разговор, как лесной пожар, занимался то там, то сям — смотря, куда ветер дунет.

Жарче всего полыхали споры в большом доме большой семьи, где в китайской шкатулочке старшей хозяйской дочери покоилось до времени кольцо преткновения. В доме, как и в деревне всей, споры возгорались стихийно — то там, то сям: то младшая сестра, завистью к старшей вспыхнув, выльет на ту помоев ушат, то мать засудит обеих, то громко завоет старуха.

Погуляв, попрятавшись по закуткам избы, дело причинное вылезло на общий суд: в большую комнату к обеденному столу. Один, робея, разговор завел, второй заспорил, третьи подключились — такой поднялся шум, какой унять под силу только хозяину.

— Молчать! — рывкнул тот, и по столу стукнул. — Давай, мать, выкладывай, что стряслось опять, — велел супруге.

Хозяйка выложила, что знала. Велели старшей дочери кольцо из спальни супружеской вниз снести. Осмотрели, потрогал каждый, мужики фыркали, девки, бабы вздыхали: — Красивое.

Хозяину украшение понравилось.

— Милая безделица, — сказал он. — Носи, дочка, а ту сороку не слушай, пускай она свои пророчества у себя в бочке с капустой квасит. И хватит болтать.



Все послушались, кто слышать мог. Но старуха, что из двух самой глухой была, заговорила: — Быть беде от недоброго глаза.

Другие — будто сигнала ждали — наперебой взялись доказывать, что девка в синем пальто несчастья несет, а раз она их несет — подарок ее горазд на худшее. Про то, что приезжая напасти накликавает — все знали, кто хоть раз ее где-то встречал.

Посыпались доказательства. Старший внук, увидев соседку, сто рублей потерял. Одна из невесток палец занозила, вторая запнулась, третья врезалась в дверной косяк. Старший сын признался: бутылку самогона обронил, зятя заглохший уазик вспомнили. А глухая мать хозяина громко в завершение вставила: — Шла, в окне ее, в синем пальто, увидела и позабыла, куда шла.

Но хозяин большой семьи спорщиком знатным был, по всей деревне умением этим славился. Не сдался и здесь — не лентяй, терпеливо ответил каждому. Внуку сказал: — Сто рублей потерял? Курить покупали с братцем. За уши оттаסקаю. От невесток отмахнулся: — Сроду руки у вас не оттуда, а глаза — не там. Старухе в ухо: — Вы, мама, куда идете — каждый час забываете.

День настал, когда тетка поднялась с кровати. К Рождеству она уверенно ходила по дому, сама прибирала комнату. Январь стоял ясный, морозный, солнечный. Поделки из бисера вторили сиянию светлых праздничных дней, веселя комнату.

— Будто внутри сказки, — шептала тетка, любуясь развешенными и расставленными всюду игрушками и украшениями.

А однажды она приоткрыла форточку и услышала за окном робкий голосок племянницы: — Все смотрю, смотрю... Вон там, выше крыш... Что там?

Потом голос молодого соседа: — Не знаешь? Вот дуреха городская! Голубятня там!

— Голубятня?

— А чего ж еще?

— И голуби есть?

— А голубей нет.

— Для чего тогда голубятня?

— Так для голубей. Только нет их, и не было.

Она услышала, как оба за окном засмеялись, а потом заговорил сосед: — Если коротко, выписали к нам в деревню мужичка, который клубом заправлять должен был. Тот, чудак, на будущем клубе голубятню затеял строить. Клуб так и не собрались открыть, голубей завести — тем более, а чудак тот остался, гармонистом его люди зовут, а хозяйство его прозвали голубятней.

Тетка прикрыла форточку и села в кресло. Девушка вошла в комнату, впустив в нее дыхание морозного дня. Не закрывая двери, она кивнула тетке, сняла шерстяную шапочку и стала стряхивать у порога снег. Обтрясла шапочку, потом синее пальто, потом, над тряпкой, обстучала ботинки, закрыла дверь и, тут же стерев грязь у порога, спросила:

— Заморозила я тебя?

— Нет, — ответила тетка. — Наоборот, воздуха хочется. Я даже форточку открывала недавно, подышать. А ты с кем-то болтала там?

— Скоро на улицу выйдешь, там и надышишься, — сказала девушка. — Я с соседом разговаривала. Я про голубятню его спросила, он рассказал. Смешная история. А сосед — ничего, веселый парень, обещал калитку нам починить.

— Смотри, бабенка у него капризная да ревнивая, не надумала бы чего.

— Да ну тебя, брось! Насчет калитки — так он сам вызвался. Надоела, говорит, — скрипит, мы всем домом слушать устали. Как я откажусь, если им самим наша калитка мешает?

Тетка вздохнула, поднимаясь с кресла: — Пусть чинит, коли так. А ты не болтай с ним больше.

Вытирая вымытые руки, девушка засмеялась, повесила полотенце и подхватила женщину под руку, помогая ей перебраться на кровать:

— Смешная ты у меня, тетя. Как будто в прошлом веке живешь. И все вы смешные тут, и деревня смешная: голубятня — не голубятня, клуб — не клуб. Аккуратно, вот так, давай — падай, оп, — и она накрыла женщину одеялом.

— Давай, милая, смейся! Как бы этот смех волчьим воем не вышел, — говорила молодухе баба, что по осени разбила банку. — Глаз мой острый, а того, что красавец твой на пигалицу в синем пальто глядит — один слепой не заметит. Вчера с переулка сворачиваю — стоят, гляжу, балакают, друг дружкой любят, миленок твой расправил перья, распетушился весь.

Разговор меж ними в магазине зашел, другие не слышали. Молодуха цыкнула на сплетницу, отвернулась гордо, собрала покупки и домой отправилась. Шла, а дорогой думала. И отцовы слова казались ей умными, и бабьи рассказы не давали покоя. «И о чем же это им, интересно, балакать было посреди улицы?» — неотвязной мухой донимал проклятый вопрос.

Поднялась, под собачий лай, узким переулком, свернула, прошла дом, другой, третий, и вдруг такое видит, от чего спину вмиг заливает холодный противный пот: законный ее супруг у чужой калитки сидит, молоточком по дощечкам постукивает. Стук да стук — словно дятел. По дощечкам постукивает, а голову в чужое окно заворотил, жену в двух шагах не видит.

Разыгралась, понятно, буря в тихий морозный день. Разыгралась да стихла: поругались, бросили.

— Почто в окно смотрел?

— Ваза чудная за стеклом блестела.

— Почто жены не заметил?

— Калитку чинил.

— Почто чинил?

— Так ты сама же хныкала, что скрипит занудно, малыша усыпить не дает, сколько времени собирался наладить, а вчера хозяйкам обещал.

К вечеру помирились.

Зимой про ту, что в синем пальто, в деревне перестали болтать: наскучило. Чурались на улице, а так — привыкли к ней. Люди безделушки разные у рукодельницы покупали: мужики — бабам на подарки, парни — девкам, дети — старикам, родители — детям. Под Новый год особенно активно отоваривались люди — украшения брали, игрушки на елку вешать.

Брали многие, да не все. Если сосчитать — не иначе, поровну бы сложилось: половина жителей в порчу от приезжей верила, а вторая — рассуждала, что первая злословит из вредности да со скуки. А кому не лень такие подсчеты вести, как ни гармонисту, что посереде деревни сидел — в самой сердцевине ее, хоть вдоль, хоть поперек червя измеряй?

В середине деревни стоял несуществующий клуб. Сбоку от трубы, зиждясь на четырех шестах, высилась убогая голубятня. На ветру голубятня скрипела, распугивая местных ворон, а в солнечные полдни бросала на дорогу тень — такую страшную да длинную, что прохожие, старательно поднимая ноги, всегда ее перешагивали. Тут он и жил.

Дощатый пол украсили мягкие тени. Она сидела за рукодельем, слушала рассказы тетки о голубятне, клубе, библиотеке, о которых в деревне все знали, хотя их не было. Да и гармонист, маленький инвалид, владелец несуществующего инструмента, гармони отроду в руках не держал: он на аккордеоне играл — старенькую «Березку» укротил самостоятельно за три года.

Он чинил дымоходы, выискивая в них заторы — простукивал, прослушивал, как слушает доктор больное тело. Печей в деревне было всего ничего, поэтому

лекарь скучал. До пенсии, пока тетка в «больничке» работала, он часто бывал там, а когда бывал — умел увлечь разговором тихую медсестричку. Так узнавала она все его начинания, которые не сбывались.

Он брался за разное — безоглядно, решительно: строил голубятню, создавал клуб, собирал библиотеку. Он хватался за писательство, пробовал художество, бредил композиторством; затеяв, приступал, не откладывая, словно жил последние дни. Под невиданным сумасшедшим натиском затея рассыпалась в прах, но на месте старой зарождалась новая идея.

Она слушала рассказы тетки и думала об этом странном, неизвестном ей человеке; думала, что, будь эта деревня деревней Германии или Голландии — состоять печному дел мастеру и самодеятельному музыканту органистом при маленьком тихом храме, который возвышался бы шпилем колоколенки над низкими домами и созывал бы жителей к воскресным мессам.

Ей было жаль невыстроенного клуба, несобранной библиотеки, пустующей голубятни и бывшей теткой «больнички», что превратилась в малополезный людям, бездушный фельдшерский пункт. Она никак не могла решить для себя, создает ли человек на земле место, или все-таки это место на земле делает человека. Она так ничего и не решила об этом.

В темноте, лежа на уютном старом диване, она рассказывала тетке о том, как придумывала платья — они мерещились живыми картинками или появлялись во сне; как она перекраивала в воображении в деталь одежды какой-нибудь случайный предмет — лист березы, птичье перо, облако или чашку — копируя с него особые очертания, фрагменты узора, переливы цветов.

Она призналась, что хочет шить наряды для героев старинных пьес в театре. Тетка уснула, а она, долго еще глядя в темноту, раздумывала: «Гармонист не найдет себе дела, потому что влюблен в его поиск; тетка не хочет ехать в город, потому что приросла к этой земле; а я, наверное, на гармониста похожа — я приросла к мечте, к своим фантазиям из ткани, бисера и ниток».

Деревенский гармонист — старичок крохотный, косоглазый, горбатый. Может, и влюблен он был в какой-то поиск — кто его разберет. Только напрасно девушка за органом его воображала. Оно, конечно, заманчиво — посадить старика мысленно за клавиатуру под блестящими трубками, да вот только ногами до педалей он никак не дотянулся бы, хоть извейся змеей.

Как говорится, мал, да удал: все про всех гармонист знал и больше других видел. Между прочим, в первый же день девушка в синем пальто, помахивая чемоданчиком, прямо под его окном прошла. Голубятни она не заметила, потому как головы не задирала, а если бы задрала — то удивилась бы не высоте сооружения, а тому, что оно не падает.

В доме без двора и забора, где планировали клуб открыть, старику одной комнатенки хватало. Больше помещение планировалось то под библиотеку, то под студию рисования, то под хоровой класс, и заполнилось в итоге разными предметами, которым не было места в других домах: умолкший приемник, старые газеты и учебники, сломанный самокат и много прочего.

Убранство старикова жилища преобразалось в зависимости от интересов хозяина. В те дни стены в комнате гармониста украшали замысловатые графики, шкалы и схемы, начертанные на тетрадных листочках. Новое увлечение старика больно уж непонятным для посторонних было: теперь он всюду симметрию разыскивал — и находил, надо сказать.

На сей раз на занятие натравил его обычный термометр. Время к весне шло, температура на градуснике плясала вокруг нуля — то книзу чуток сползет, товерху маленько влезет. И однажды старик подумал, что градус людского настроения

колебаниями температурными, вполне вероятно, находится в соответствии, иными словами — в прямом родстве состоит.

От того и пошли думы: стал старик считать все подарки, все убытки, что от девки в синем пальто жители деревни несли. Первым минусом разбитая молочная банка пошла, первым плюсом — светленькое колечко. Всякий принятый факт гармонист фиксировал, вносил в нужные столбцы и списки, а впоследствии излагал статистику и вовсе наглядно — в схемах и графиках.

Температура на градуснике у крыльца вокруг нуля прыгала, и старик переживал очень, боялся хоть одно событие прозевать: «К сроку правильная должна явиться картина, что поможет мне верный ответ дать, когда спросят». В том, что с вопросом к нему вот-вот нагрянут — не сомневался старик, такое он по опыту знал, «предвидел, — как сам любил выражаться, — и без очков».

Девушка смастерила футляр для очков гармонисту в подарок. Футляр расшила бисером: цветные дикие звери-птицы символизировали строптивую мечту. Она завернула футляр в газету, оделась, отправилась к голубятне. А когда с подарком она вышла на улицу, поняла, что весна подкралась совсем уже близко, и скоро придет время снимать и шапку и пальто.

Воскресное утро сияло, слепя глаза и выжимая слезы. На обочине дороги чиркали воробьи, а там, где крыши припекало сильнее всего, звенела ранняя капель. Всюду чувствовалось оживление в преддверье весны, даже собаки в узком переулке лаяли вдохновенней обычного. «Угу-угу», — поддержал поезд ее радужные мысли, а впереди по улице показалась вышка голубятни.

Она поднялась по скрипучим ступенькам, затоптанным грязными подошвами многих пар ног, подумала, что гостей у гармониста, печника и затейника бывает, как видно, много, и постучала в двери. Ей не ответили, и тогда она вошла в сени, из них — в захлащенный несуществующий клуб, где постучалась в другую дверь — жилой комнатенки.

— Да ты волшебница! — воскликнул старичок, взяв в руки сверкающий бисером футляр. Он рассматривал его, щуя здоровый глаз, поднеся на свет к окошку, а девушка, стоя у порога, разглядывала стены, усеянные загадочными изображениями. Вспомнил о госте старик, спохватился: — Темно тут, и не убрано у меня, пойдем на крыльцо, а за подарок — спасибо.

Они вышли на солнечное крыльцо и застыли, сраженные грохотом: голубятня, словно громадная сосулька талая, повалилась вдруг с крыши на улицу. Из ближних домов — со стороны станции — повыскочили люди. За ними — другие. Они бежали к девушке, кричали на нее, издалека швыряли в нее, что в руки попадалось — обломки сосулек, сосновые шишки, камни.

— Добрая ты, — быстро заговорил старик. — Но в деревне этой не будет тебе покою. Поезжай туда, откуда приехала — вот тебе мой совет. А за тетушкой твоей присмотрят люди, я придумаю, кого попросить. Беги! Быстро беги! — и старик развернул девушку к лесу и толкал в спину до тех пор, пока она не побежала, куда направили, испуганно сжавшись, безропотно свесив голову.

Она ворвалась в дом и бросилась к тетке, едва не повалив ее на пол. Рассказ ее был сбивчивым, запутанным, он прерывался всхлипами, то и дело останавливался на полуслове. Но тетка все поняла.

— Поезжай, милая, прав он, — сказала она племяннице. — Не дразни гусей этих диких. Я на ноги встала, расхожусь теперь.

— До весны доживу — уеду, — всхлипывая, ответила та.

Дочка старшая, притворив дверь, решительно глядя в лицо отцу, понесла все, что который день изнутри огнем обжигало:

— Ты, отец, чего хочешь выдумай, а сделай так, чтобы этой злыдни в нашей деревне не было! Или сделаешь так, или не отец ты мне больше!

Хозяин большой дома большой семьи и не понял сразу.

— Ты о чем это толкуешь, дочь? — спросил.

— А то не знаешь, о чем да о ком я! Ходит в пальто своем синем, серьгами бряцает, мой дурак на нее пялится, а от меня нос воротит. Вся деревня болтает, со двора выйти стыдно, — и она зарыдала громко, затряслась вся.

— Выйти, говоришь, стыдно? — рассвирепел хозяин большой семьи и поднялся. — Так я пойду, дурня твоего выдеру палкой — мигом вспомнит, куда глядеть.

— Нет! — громче прежнего взвyla дочка и к отцу на грудь кинулась. — Тогда и меня приберй разом, и маленьких наших — всех одной палкой приберй!

— Ну, будет тебе, угомонись маленько, — обмяк отец. Он стал дочь по голове гладить, успокаивать.

— Обдумать надо. Обдумую я, — пообещал.

— Думай, батя, думай, — отпрянула от него дочь и рукавом утерла слезы. — А не надумаешь ничего — в этом доме не увидишь меня больше. Ни меня, ни детей моих. Лучше по миру пойти с котомкой, чем такое терпеть, — заявила она решительно.

— Тьфу ты, — плюнул в сердцах отец. — Разошелся самовар, чего выдумала, уж и «по миру с котомкой».

Говоря так, хозяин большой семьи смекнул запоздало, что дочка старшая характером в него уродилась.

А та, в дверях обернувшись, громким шепотом закончила:

— Три дня ждать буду. Потом уйдем. А ты не простишь себе.

И хлопнула дверью. Хозяин подошел к окну и долго стоял, глядя на жалкий соседский домик. Потом он кликнул старших сыновей. О чем они говорили — не слышал никто, кроме старшего внука, что до разных мужичьих секретов больно охочим был.

«Сдурел — всегда так в деревнях поступали». — «Так грех ведь, батя». — «Другой дороги не сыскать». — «А как сгорят живьем?» — «Так вы их и вытащите, под утро по-соседски влезете, будто спасая свой дом». — «А коли не сумеем вытащить?» — «Сумеете, куда вам деться».

Смекнув, что дело недобрым пахнет, мальчонка из дому прокрался — и, что было мочи, деру до голубятни дал.

Гармонист, будто нарочно гонца дожидался: сразу послал мальчишку в один двор да в другой двор, чтобы троим сказать, а других оставить в неведении. Среди ночи загорелся на верхней улице дом. Разошелся огонь — далеко было видно. Вся деревня тушила пожар — соседи начали, другие на подмогу пришли. Погорелиц не видели, отчего крестились люди и шептали всякое.

До станции ехали молча, слушая рыкающий на ухабах мотор и новости из приемника. Узик — тот самый, что однажды заглох перед девушкой в синем пальто — остановился рядом со спящим перроном. Было тихо. Луна висела низко над рекой. Они выгрузили вещи, простились так, как с чужими людьми прощаются. Поезда тетке с племянницей предстояло ждать почти до утра.

Со станции пламя на верхней улице виделось маленьким огоньком.

— Весело отгорело, — сказала тетка, когда огонек погас. Копоти они не почувствовали, шума из деревни к ним тоже не принесло — может, потому, что ветер в тех краях почти всегда от реки дул. Когда веселый огонек исчез у черной каемки леса, в небе открылись бледные сероватые шелки.

Они садились в поезд, когда над речкой растекался холодный туман — в тот самый сонный, неясный час, когда утро еще не пришло, а ночь кончилась. В вагоне девушка уложила тетку, растолкала по полкам вещи, сняла и повесила синее пальто

и села к окну. Она думала, что не заснет, но уснула, лишь прислонилась виском к холодному влажному окошку.

Ни тетка, ни племянница не знали, как жарко полыхало пламя на верхней улице, как шумела вся деревня, заливая их дом водой и забрасывая остатками снега. Они не знали, о чем шушукались под утро уставшие люди с закопченными руками и лицами, о чем, отмывшись и выспавшись, они рассказывали старому гармонисту, о чем просили, о чем спрашивали.

Ни один, пришедший на бывшую голубятню, не дождался от старика ни совета, ни ответа. Молчал гармонист. Проводив мальчонку, старик содрал со стен комнаты списки, схемы и графики и в печке сжег. Когда на верхней улице занялось пламя, он похромал к соседям, да так и сновал потом челноком от дома к дому, поднимая спящий народ на борьбу с огнем.

На другой день гармонист исчез: куда девался — никто не видел. Та баба, что осенью разбила склянку с молоком и лодыжку вытянула, в пропаже старика под рухнувшей голубятней прочла дурное знамение. Созвонившись с родственниками, она покинула деревню, предварительно спалив дом — «чтобы дурь хвостом не увязалась». Пожужжав диким ульем, деревня стихла.

Лето прошло за грядками да покосами. Но псу под хвост, оказалось, были запасы все. Старшая дочь из большого дома, забив из ревности мужа тяткой, скрылась вместе с детьми; хозяин позора не вынес, слег и не поднялся больше, за ним — старики. Дети, распродав добро, разъехались. Глядя на них, оставили деревню и другие жители — кто из страха, кто в надежде на лучшее.

Вы скажете, что неизвестный автор, может быть, другое собирался рассказывать, и будете правы. Но другие истории пусть другие пишут, а эта уже закончена — и смешная, и грустная, как в куплетах, страницы на букву «Д». Куплеты, точно, не для органа — об этом любой из вас без меня догадается. К страничкам на «Д» — подсказка: «Другому дано дело делать, дураку дурное домысливать даровано. Домыслы — дело дурацкое, для дела дурацкого достаточно дураков». Подсказка не означает, что я умнее, ведь и у меня к вам вопрос есть: рассказ сочинять — «делать дело» или строить «дурацкие домыслы»? Или занятие это, как нелепая голубятня в деревне, в середине меж тем и другим стоит?

По белой улице ехали машины, сновали прохожие. На остановке, кроме меня, теперь никого не осталось. Две женщины — худая в синем пальто и полная в шубе — давно исчезли из вида. Они отправились в разные стороны, согласно сюжету. Как жаль, что не в моих силах сделать так, чтобы больше они не встретились, чтобы в сюжете действительности сохранилась симметрия, которой робко придерживался неизвестный нам автор загадочных строк. А еще в записке пряталась его надежда, помните? «И неведомый мне человек из селения мне неведомого, ознакомившись с запиской этой, коли сложится она у меня, ухватит в ней то, что на его оплошности и заблуждения ему единственному прямое указание даст».

